

A photograph of two soldiers from behind, walking away on a path in a forest. The soldier on the left wears a brown coat and a black beret, while the soldier on the right wears a dark green coat and a black beret. Both have brown leather belts and shoulder straps. The ground is covered with fallen leaves and patches of snow. The background shows bare trees and a misty atmosphere.

Вячеслав Михеев

Отражение

Вячеслав Михеев

Отражение

<https://litres.ru/74100834>

SelfPub; 2026

Аннотация

Дмитрий Летов, фабрикант, и Константин Фролов, рабочий-подпольщик, — враги, запертые в петле времени. Три жизни они убивают друг друга: в окопах Гражданской, в кабинетах ВЧК, в заснеженных лесах под Минском. Но каждый выстрел возвращает их обратно — в 1915 год. Чтобы разорвать круг, им придется не простить, а признать: они не враги. Они — две половины одной разрушенной России.

Содержание

Глава	4
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Вячеслав Михеев

Отражение

Глава

ОТРАЖЕНИЕ

ПРОЛОГ. Точка Сингулярности

Снег. Всегда начинается со снега.

Не тот пушистый, сахарный, что ложится на плечи дамам на Кузнецком Мосту и тает от дыхания извозчичьих лошадей. А другой снег. Тяжелый, серый, пропитанный запахом железа и горелой шерсти. Снег, который не тает, а въедается в кожу, как татуировка.

Щелчок.

Звук сухой и короткий, как перелом птичьей кости.

Вспышка вырывает из темноты чужое лицо. Искаженное, потное, с безумным блеском в глазах. И эта деталь — нелепая, яркая, кричащая ****красная лента****, повязанная поверх серого сукна буденновки. Она развевается на ветру, словно флаг над поверженной крепостью.

Боль приходит не сразу. Сначала приходит холод. И мысль, странная, не своя, всплывающая из черных вод подсознания: *«Я уже видел это. Я уже умирал здесь»*.

Темнота сгущается, скручивается в тугую спираль, и где-то в самой её сердцевине, сквозь гул в ушах, пробивается иной звук. Ритмичный. Механический.

Тук-тук-тук. Тук-тук-тук.

Это стучит не сердце. Это стучит ткацкий станок.

ГЛАВА 1. ШУМ СТАНКОВ И ТИШИНА ИКОН

Москва. За Пресненской заставой. Февраль 1915 года.

Фабрика «Товарищества мануфактур И. Летова» дышала, как раненый зверь, загнанный в кирпичную клетку. Исполинское тело пятиэтажного корпуса, сложенного из потемневшего от копоти красного кирпича, содрогалось в лихорадке. Гул сотен челноков, с бешеной скоростью ударяющих по хлопковой основе, не рассыпался на отдельные звуки, а сливался в единый, низкочастотный, утробный рокот. От этого инфразвука, казалось, вибрировали не только стекла в частых переплетах окон фабричной конторы, но и сама кость, позвоночник человека, вынужденного находиться здесь день за днем. Под потолком, в мутном мареве, заты-

гивавшем пространство подобно кисейной занавеси, вращались толстые кожаные ремни трансмиссий — они шипели и хлопали, словно бичи надсмотрщиков, подгоняя ритм работы.

Воздух здесь был не просто спертый — он был густым, съедобно-плотным от взвеси хлопковой пыли, смешанной с парами машинного масла и едким потом сотен тел. Этот смрад, тяжелый и сладковатый у основания и острый, бьющий в ноздри у раскаленных чугунных станин, въедался в одежду, в волосы, в поры, в самую душу, превращая человека в придаток механизма, лишая его право на чистый вдох.

Дмитрий Иванович Летов стоял у высокого венецианского окна своего кабинета, отделенного от цеха лишь тонкой перегородкой, и смотрел вниз, в бурлящее человеческое море. Ему было двадцать пять лет от роду, но на его высоком чистом лбу еще не пролегло ни одной глубокой морщины, а в глазах, светло-серых и по-юношески влажных, еще не поселилась та тень сомнения, что старит человека быстрее невзгод. Он был одет в безупречный сюртук из тонкого английского сукна мышинного цвета, который казался здесь, среди чугуна, смазки и заплат на рабочих армяках, чем-то вызывающе инородным, почти театральным реквизитом, случайно попавшим в адскую декорацию. В левой руке, опущенной в карман, он судорожно, до боли в костяшках, сжи-

мал маленькое серебряное распятие — память о матери. Он прятал его в горячей ладони, словно боялся, что суровый, безбожный быт фабрики осквернит эту святыню, сделав серебро тусклым и обыденным. Дмитрий думал сейчас о словах апостола Павла о любви, которая долго терпит. Ему мучительно хотелось, чтобы эти люди, копошащиеся внизу, почувствовали ту же наполняющую его изнутри благодать, что и он.

Сзади неслышно, по-кошачьи, переступал с ноги на ногу Алексей Петрович, управляющий. Это был пожилой человек с лицом, похожим на печеное сморщенное яблоко, которое время и фабричная гарь покрыли сеткой глубоких трещин-морщин. Его движения были суетливы и предупредительны, но в выцветших глазах застыла мука человека, вынужденного вечно стоять между молотом и наковальней.

— Они устали, Дмитрий Иванович, душевно устали, — тихо сказал он, почти прошепелявил беззубым ртом, стараясь перекрыть шум, но не смея повысвить голос. — Смены-то по двенадцать часов, будь они неладны. Бабы воют в голос, пока станок крутят: у одной мужа на Мазурах убили, у другой — кормильца без обеих ног привезли, гниет заживо в подвале у Хитрова рынка. Мужики, кто с фронта по чистой списан, у тех руки нет, а в душе злоба чернаякопит ее и не знает, куда выплеснуть. Сухой закон, что Государь ввел, им

теперь не в радость. Раньше хоть в казенке забвение находили, а теперь трезвая жизнь, как анатомический театр, — одни нервы наружу. Душа болит, а залить нечем. Они ведь, Дмитрий Иванович, как порох.

Дмитрий резко обернулся. Его лицо, озаренное светом газовых ламп, светилось той особой, почти болезненной одухотворенностью, которая свойственна неопитам и юродивым. У него была своя, непоколебимая правда, вычитанная из святоотеческих книг.

— Усталость проходит, Алексей Петрович, когда человек видит смысл в своем страдании. Вы посмотрите на них иначе. Мы шьем шинели. Это не просто сукно, не просто аршинны, уходящие в обоз. Это броня для наших братьев, которые сейчас, сию минуту, сидят в окопах у Августовских лесов и льют кровь за Веру, Царя и Отечество. Я привез иконы. Список с чудотворной Владимирской и Георгия Победоносца. Мы освятим цех. Поставим лампы, пусть горят неугасимо. Пусть эти люди видят, что Господь не оставил их в труде, что Он здесь, рядом с ними, вдыхает эту же хлопковую пыль.

Управляющий вздохнул тяжело, со свистом, и опустил глаза в пол, будто разглядывая щели в разошедшихся половицах. Внутренне он сжался. «Эх, барин, барин... — думал он, пряча сухие, узловатые пальцы в карманы жилета. — Лампадами сыт не будешь, это и слепой знает. А иконами шрапнель

не остановишь. Пока ты тут душу спасаешь, там, в углах-то, уж совсем другие псалмы поют — про землю и волю. И эти песни громче твоих молитв». Он видел то, чего не замечал молодой хозяин за пеленой своей веры: волчью худобу лиц, загнанный блеск голодных глаз и скрюченные подагрой пальцы, которые сжимались в кулак каждый раз, когда бархатный басок хозяина заводил речь о священном долге.

Внизу, в самом глухом и плохо освещенном углу цеха, у станка №42, где клубы пыли были настолько плотны, что забивали ноздри и хрустели на зубах, работал Константин Фролов. Это был человек тридцати лет, жилистый, с темным, будто прокопченным лицом, на котором резко выделялись глубоко посаженные угольные глаза. Его руки, грубые, с въевшейся в поры чугунной чернотой, которую не брал даже щелок, двигались с парадоксальной, хищной ловкостью. Он не смотрел на движущуюся основу, его пальцы жили отдельной, рефлекторной жизнью. Взгляд его, не мигая, был устремлен вверх, на застекленную галерею конторы, где, словно в аквариуме, маячил силуэт Дмитрия.

Константин не слышал гула станков. Он заглушил его внутри себя напряженной работой мысли. В его голове звучал другой ритм — не металлический лязг, а глухой, подземный гул подпольных типографий на Бронной, прерывистый шепот сходов в чайных «отравах» на окраинах, где подава-

ли морковный чай с сахарином, и сухой шорох нелегальных листовок, зашитых в подкладку картуза. В нем боролись два чувства: холодная, выверенная годами лишений классовая ненависть и странное, раздражающее его самого любопытство к этому чистому барину.

— Смотри, — прошипел он уголком рта соседу, старому ткачу с пробитым на шахте легким, вечно кашляющему в грязную ветошь. — Барин спустился. Поди, кропить нас будет, как скот во дворе. Чтоб мы смирнее стали, пока они там, на Невском, дворцы достраивают да шампанским запивают нашу грыжу.

Он сам не верил до конца в свои слова, но ему нужно было выплеснуть яд, чтобы не захлебнуться им. Внутри шла борьба: «Ведь можешь ты, сволочь, просто выдать нам по рублю к празднику, просто по-человечески выслушать, а не о душе талдычить, когда у меня у самого дети маковой росинки во рту не держали».

Сосед, старый Захар, сплюнул коричневой от табака слюной на грязный, заплыванный пол и ответил, но в его голосе не было злобы, только усталость, похожая на смерть:

— Оставь, Костя. Не тревожь душу. Он добрый. Христа ради прошу, остынь. В прошлый раз, когда у вдовы Марфы изба догорела до углей, он и дров прислал, и денег двадцать

рублей ассигнациями не поскупился. Не нам в его карман заглядывать. Бог ему судья.

— Добрый... — Константин дернул плечом, и в этой усмешке, искривившей его тонкие бескровные губы, было столько концентрированной желчи, что она, казалось, могла бы прожечь насквозь грубое фабричное сукно. — Ты, дядя, как дитя. Он добрый, потому что сытый. Потому что у него в кармане доход с нашего пота. А когда голодный пес лижет руку, он не любит тебя. Он просто ждет, когда ты уронишь кусок. Жрет он твою милость и давится, но смотрит в глаза, боясь, что прогонишь. Так вот, дядя, я не пес. Я волк. И я запомню его лицо. Запомню этот его взгляд сверху вниз, сквозь стекло, будто мы для него букашки под микроскопом. Запомню накрепко, до того самого часа, когда мы этих букашек посчитаем.

Он говорил это, а сам чувствовал странное смятение. Где-то в глубине души, куда он боялся заглядывать, ему нравилась эта фанатичная искра в глазах барина. Она была сродни его собственной одержимости, только направленной в другую сторону. И это родство пугало Фролова сильнее, чем возможный арест.

Дмитрий спустился в цех по крутой чугунной лестнице. Гул словно по команде начал стихать, переходя в насторо-

женное жужжание. За спиной хозяина, блестя ризой в тусклом свете масляных ламп, шествовал отец Николай, грузный священник с кропилом, с которого капала святая вода, оставляя на грязных досках пола темные крапинки. Рабочие, в основном бабы и старики, торопливо срывали с голов засаленные картузы и косынки, крестились торопливо, мелко, глядя исподлобья.

— Братья! — Голос Дмитрия, поддержанный отличной акустикой кирпичного пролета, был чист, звонок и на удивление тверд. Он перекрывал остаточный шум машин, словно глас проповедника, сошедшего со страницы Евангелия. — Император-батюшка благоволит вам и благодарит за труд! Каждая нить, которую вы прядете здесь, в тылу, — это нить, связывающая нас грядущей победой над супостатом! Ваши руки куют броню! Ваши мозоли святы, ибо ими мы закроем грудь солдата-христолюбца!

Он говорил искренне. Каждое его слово было наполнено той внутренней музыкой, которую он слышал только сам. В эту минуту он не замечал ни синюшной бледности лиц, ни глубоко запавших глаз, ни трясущихся от недоедания рук. Он видел перед собой не изможденных людей, загнанных в фабричный ад, а прекрасный иконописный лик единого народа, сплоченного общей бедой и общей верой в Бога и Помазанника. Он был счастлив в эту секунду абсолютным, все-

поглощающим счастьем праведника.

Но его сияющий взгляд, скользнув по первым рядам, вдруг споткнулся и зацепился, как шелк за гвоздь, за фигуру в самом темном углу, у станка №42.

Константин не снял кепку. Он стоял прямо, не шелохнувшись, скрестив на груди узловатые, черные от металла руки. Его поза была вызывающе статична среди моря склоненных спин. Он смотрел Дмитрию прямо в глаза, не мигая. В этом взгляде не было животного страха, не было привычной мужицкой забитости. В нем было обещание. Спокойное, холодное и неотвратимое, как приговор.

Дмитрий на мгновение сбилсЯ. Воздух вокруг него словно уплотнился. Сердце, только что бившееся ровно и радостно, вдруг кольнуло иррациональным, липким страхом, тем самым, что накатывает в детстве при взгляде в темный угол спальни. «Кто это? — молнией пронеслось в голове. — Я видел это лицо. Я знаю эти глаза. Но где? Во сне? В горячечном бреде, когда лежал в тифу?» Ему показалось на секунду, что нечистый посылает ему искушение, испытывает его веру на прочность через этого апостола тьмы. Он быстро, почти судорожно, отвел глаза, подняв их выше, к закопченному стеклянному фонарю, и широко перекрестил толпу, но образ рабочего с тяжелым, немигающим взглядом волка застрял в памяти, как заноза, причиняя почти физическую боль.

Они стояли друг против друга, разделенные толпой и воздухом, пропитанным маслом. Один верил, что мир держится на Небе, и стоит лишь подставить лестницу молитвы, чтобы Небо спустилось и обняло землю. Другой знал, что мир держится на пороховой бочке, которая давно прогнила, и что спичка в его кармане отсырела, но достаточно одного порыва горячего ветра, одной искры, чтобы вся эта громада под названием «Империя» взлетела на воздух. Они были двумя полюсами одной рушащейся вселенной, и в тишине, повисшей над цехом перед началом молитвы, уже слышался треск разрываемой истории.

ГАЗЕТНАЯ ХРОНИКА

Вырезка из газеты «Русское слово», № 45, 23 февраля 1915 года.

> ****ВЕЛИКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ И ТЫЛ****

>

> *«С фронта приходят тревожные вести. Снарядный голод, о котором так много писали военные корреспонденты, ныне сказывается на позициях наших доблестных войск в Галиции и Польше. Германская машина, перемалывающая пространство огнем тяжелой артиллерии, теснит наши полки. Однако дух армии не сломлен! Народное единение крепнет с каждым днем.*

>

> *В Москве продолжается запись добровольцев. Земгоры (Земский и Городской союзы) мобилизуют все ресурсы для помощи раненым и беженцам, поток которых из западных губерний не иссякает. Город переполнен, цены на дрова и муку растут, но москвичи стойко переносят тяготы военного времени, уповая на милость Божию и мудрость Государя Императора.*

>

> *Напоминаем читателям, что высочайшим повелением введенный "Сухой закон" неукоснительно соблюдается. Торговля водкой прекращена, и трезвый взгляд на происходящее должен помочь нам пережить лихолетье».*

****Историческая справка для читателя:****

*****Снарядный голод (1915):**** Реальная катастрофа русской армии в начале Первой мировой войны, когда на одно немецкое орудие приходилось по 1-2 выстрела русских пушек в день. Это привело к Великому отступлению и потере Польши.

*****Земгор:**** Объединение Земского и Городского союзов, созданное в 1915 году для помощи армии и организации тыла. Фактически стал структурой, альтернативной правительственной бюрократии, и центром либеральной оппозиции.

*****Сухой закон:**** Был введен Николаем II в 1914 году

в начале войны. Запрет на продажу алкоголя ударил по бюджету (винная монополия давала огромные доходы), но, как ни странно, способствовал росту производительности труда на заводах, хотя и вызывал недовольство и самогоноварение.

* **Беженцы:** * К 1915 году миллионы людей бежали из прифронтовых зон в центральную Россию, создавая колоссальную социальную нагрузку на города, включая Москву.

ГЛАВА 2. ХРУСТАЛЬ И КОПОТЬ

Москва. Март 1915 года.

Особняк Летовых на Пречистенке, уютно укрывшийся в глубине старого липового сада, дышал тишиной — той особенной, бархатной, чуть сонной тишиной, какая возможна только в домах, где веками, поколение за поколением, ничего не менялось. Здесь, за толстыми стенами, обшитыми дубовыми панелями, само время замедляло свой бег, превращаясь в мерное, почти незаметное течение. Паркет из мореного дуба, набранный затейливой елочкой, помнил шаги еще прадеда Дмитрия, принимавшего в этом доме славянофилов; его поверхность, отполированная до зеркального блеска воском и бесчисленными шагами обслуги, отражала скудный свет мартовского дня, просачивающийся сквозь тяжелые портьеры.

Высокие в пол окна, задрапированные бордовым бархатом, наглухо отсекали московскую уличную суету — весь этот грохот ломовиков, крики разносчиков, редкий, но резкий гудок автомобиля, — оставляя лишь смягченный, будто просеянный сквозь вату, шум жизни. Тишину нарушали только два звука: сухое, ритмичное потрескивание дров в изразцовой голландской печи, расписанной синими васильками по белому кафелю, да монотонное, заунывное тиканье напольных часов «Павел Буре», отсчитывающих секунды этой странной, замершей в предгрозовом ожидании эпохи.

Елизавета Сергеевна Волконская — Лиза, как звали ее в семье, — сидела в малой гостиной, обитом шелком цвета увядшей чайной розы, склонившись над пяльцами. Ей было двадцать три года, но в ее лице, обрамленном пепельными, слегка выючимися на висках волосами, уже проступила та хрупкая, почти болезненная красота, что свойственна орхидеям, выращенным в оранжереях, вдали от ветра, солнца и суровой, обдирающей душу правды жизни. Ее кожа, тонкая и бледная, казалась почти прозрачной на свету; под глазами залегли легкие, голубоватые тени — следы бессонных ночей, проведенных в чтении жития святых или в одиноких молитвах перед домашним киотом.

Она вышивала бисером образ Спаса Нерукотворного для церкви Покрова, что в подмосковном имении Летовых —

Покровском-на-Истре. Стежок за стежком, мелкий жемчуг и золотой бисер ложились на бархат покрывала, складываясь в строгий, византийский лик с огромными, скорбными глазами. Она молилась каждым стежком, каждым движением иглы, словно могла вышить не просто образ, а саму защиту — невидимый щит, который укроет ее мир от надвигающейся, сгущающейся где-то за горизонтом беды.

Внутри нее шла тихая, почти неосознанная борьба. Она была сиротой. Отец, отставной гвардейский полковник, был убит мужиками в своем же имении во время аграрных волнений 1905 года, мать умерла годом позже от скоротечной чахотки, не пережив позора и разорения. Семья Летовых, дальние родственники, взяли ее, тринадцатилетнюю девочку, в свой дом из жалости и христианского долга. Анна Сергеевна заменила ей мать, а Дмитрий... Дмитрий стал для нее всем. Не просто женихом — нет, это слово было слишком земным, слишком обыденным. Он стал ее миром, ее защитой, ее будущим, единственным человеком, рядом с которым она не чувствовала себя сиротой, приживалкой, обузой. Каждый раз, когда он уходил из дома, Елизавета испытывала иррациональный, липкий страх, сжимающий горло: а вдруг он не вернется? Вдруг и его заберет эта страшная, грязная, мужицкая сила, что погубила ее родителей? Эта мысль, словно заноза, сидела глубоко в сердце, и никакая молитва не могла вырвать ее.

— Лизанька, — дверь бесшумно отворилась, впуская в гостиную облачко запаха французских духов «L'Origan» и камфорного масла, которым натирали виски от мигрени.

На пороге стояла Анна Сергеевна Летова, мать Дмитрия. Это была женщина пятидесяти лет, чье лицо, все еще хранящее следы былой гордой красоты, словно застыло в постоянной маске аристократической скорби. Она была одета в строгое темно-лиловое платье, глухо застегнутое до подбородка, с высоким воротником, подпирающим второй подбородок. В ее руках нервно подрагивал тонкий батистовый платок, пахнувший лавандой.

— Завтра благотворительный базар в Дворянском собрании в пользу беженцев из Варшавы и Галиции, — произнесла она тоном, не терпящим возражений, голосом сухим, как шелест страниц расходной книги. — Ты поедешь со мной. Нужно показать, что мы, Летовы, помним свой долг перед Государем и Отечеством. Война войной, а положение обязывает.

Елизавета подняла глаза. В них, серо-голубых, обычно тихих и безмятежных, сейчас плескалась густая, почти осязаемая тоска.

— Матушка, простите меня, но я устала от этих базаров.

Устала от этой... показной благотворительности. Я вчера была в приюте для сирот на Якиманке. Там дети из Лодзи, которых эвакуировали под обстрелом. У одной девочки, Манечки, четыре года, мать умерла в поезде от тифа, прямо на ее глазах, а отец пропал без вести где-то под Ловичем. Она сидела и всё спрашивала меня: «Тетя, когда придут немцы и заберут меня к маме?» Она думает, что немцы — это ангелы. И я не знала, что ей ответить.

Она замолчала, чувствуя, как к горлу подступает комок. Внутри все дрожало. «Как я могу идти на этот базар, пить чай с марципанами, когда там, на Якиманке, в сырых комнатах с облупившейся краской, дети умирают от голода и тифа? Это лицемерие. Но я боюсь ослушаться. Я всегда боюсь. Я — сирота, живущая из милости. Мое место — молчать и быть благодарной».

Анна Сергеевна поморщилась, словно от внезапной зубной боли. Ее правая бровь, тонкая, выщипанная в ниточку, дернулась вверх.

— Лизанька, милая, ты слишком близко к сердцу всё принимаешь. Это твой крест, я понимаю. Ты сирота, и Господь, забирая одних, посылает нам испытание. Но пойми, сейчас не время раскисать и предаваться меланхолии. Ты — невеста моего сына, будущая хозяйка всего этого, — она обвела рукой гостиную с ее фамильными портретами и бронзовыми

канделябрами. — Завтра возвращается Дмитрий из деловой поездки. Нужно быть в форме, чтобы он увидел тебя цветущей, а не заплаканной и бледной, как институтка перед экзаменом.

При упоминании Дмитрия лицо Елизаветы мгновенно смягчилось, озарилось тем особым внутренним светом, который преображает даже самые заурядные черты. Она любила его той чистой, почти монастырской, трепетной любовью, какая бывает только у девушек, выросших без родителей, под крылом чужой, пусть и доброй семьи. Дмитрий был для нее не просто женихом, не просто мужчиной, с которым предстояло связать жизнь. Он был якорем, спасательным кругом в бушующем море жизни, единственным человеком, чье присутствие дарило абсолютное чувство безопасности. Когда он был рядом, мир обретал четкие, правильные очертания.

— Дима приедет... — прошептала она, и ее тонкие, музыкальные пальцы сами собой потянулись к медальону на груди — овальной золотой вещице с монограммой, где под стеклом хранилась крошечная фотография Дмитрия в кадетской форме: мальчик с серьезным, не по годам взрослым взглядом. — Матушка, — она запнулась, решаясь, — а правда ли, что на фабрике беспокойно? Я слышала от горничной, что там опять зачинщик появился. Какой-то... Фролов, кажется?

Что он говорит страшные речи, что он смотрит волком на хозяев.

Анна Сергеевна взмахнула рукой, отгоняя дурные мысли, как назойливую осеннюю муху, залетевшую в теплую комнату.

— Ах, оставь, Лиза! Мужики всегда недовольны, это их природа. Сколько ни корми, сколько ни молись за них — все в лес смотрят. Димушка говорит, что это всё пустяки и досужие сплетни. Он добрый хозяин, Господь ему в помощь. А этот... как ты сказала? Фролов? Охранное отделение присматривает за такими. У нас в России порядок, слава Богу. Царь-батюшка на престоле, армия сильна, хлеб есть. Смутьянов быстро выводят на чистую воду. Не слушай сплетни прислуги, прошу тебя. Их хлебом не корми — дай посплетничать.

Но в глубине души, где-то под слоем напускной уверенности, в сердце Анны Сергеевны шевельнулся холодный, липкий червячок тревоги. «А что, если? Что, если эти грязные, озлобленные мужики, убившие отца Лизаветы, снова поднимут голову? Что, если рухнет всё — и этот дом, и положение, и сам мир? Нет, нельзя об этом думать. Дмитрий справится. Император на престоле».

Елизавета послушно кивнула, но тревога не ушла, она

лишь глубже забились под сердце, притаилась, как мышь за обшивкой стены. Она снова склонилась над пальцами, и стежки вдруг пошли неровно: золотой бисер ложился криво, рвал тонкий шелк. Что-то звенело в воздухе, что-то неприятное, фальшивое, словно натянутая струна виолончели перед тем, как лопнуть с резким, режущим ухо звуком.

На другой стороне Москвы, в чреве Хитрова рынка, в подвале трактира с мрачным названием «Утёс», притаившегося в лабиринте кривых, загаженных переулков, воздух был иным — густым, вязким, почти непригодным для дыхания. Он состоял из слоев: тяжелый, плотный слой сивушного перегара и махорочного дыма стелился у самого земляного пола, повыше висел слой чада от керосиновых коптилок, а под самым закопченным, низким сводом скапливался жар от человеческих тел и смрад грязного, много раз ношенного платья.

Здесь, среди воров-«щипачей», беглых босяков, проституток с Садовой-Сухаревской и политических ссыльных, Константин Фролов чувствовал себя в своей стихии. Это был его мир, его родина, его воздух — мир без иллюзий, без сантиментов, где цена человека определялась не родословной, а крепостью кулака, острым умом и способностью смотреть

в глаза смерти без страха. Здесь правда пахла не розовым маслом и ладаном, а типографской краской и запекшейся на рваных рубахах кровью.

Он склонился над ручным печатным прессом, спрятанным за грудой пустых пивных бочек в темном сыром углу, похожем на пещеру. Его руки, привыкшие к тонкой работе у станка, двигались с безошибочной, выверенной сноровкой, накатывая вал с краской на наборную форму. Каждое движение давало ему ощущение контроля, силы. Если он не мог изменить свою жизнь, он мог напечатать слова, которые изменят её для других.

— Готово, — хрипло сказал он, вынимая из-под пресса пахнувший керосином влажный лист бумаги и передавая пачку только что отпечатанных листовок товарищу Мише — молодому, но уже изломанному жизнью парню с глубоким, рваным шрамом через всё лицо, от виска до подбородка. Это был след от шашки казака, полученный во время баррикадных боев на Пресне в декабре пятого года. — Распредели по цехам, Миша. Через своих баб, через надежных мужиков. Передай, что на Пасху вместо куличей и красных яиц хозяева получают от нас красного петуха. Пусть знают: пока Лето-вы жертвуют на беженцев для показухи, чтобы о них написали в «Московских ведомостях», их собственные рабочие пухнут от голода, сдыхают, как мухи, и едят лебеду пополам

С ЖМЫХОМ.

Внутри него слова складывались в тезисы. «Благотворительность — это подачка. Им не нужно сострадание, им нужен передел. Пусть эта барышня, невеста хозяина, раздаст платки. От её платков теплее не станет. Мир устроен несправедливо, и только кровь может смыть эту несправедливость».

Миша, жуя мундштук погасшей папиросы, усмехнулся одними губами, отчего щрам на его щеке уродливо дернулся.

— Костя, ты всё кипишь. Ты зря так на Летова бочку каатишь. Мужики говорят — он не зверь. Барин молодой, да с понятием. Вдовам помогает, премию к Рождеству выписал из своего кармана. Иконы в цехах ставит, священника пустил. Другие вон своих в черном теле держат, в казармах запирают, а этот хоть по имени всех знает.

— Иконы... — Константин выпрямился, разминая затекшую спину, и сплюнул на утоптаный земляной пол. Губы его скривились в презрительной усмешке. — Иконы, Миша, это для затмения мозгов, чтоб мы не думали о главном. Господь Бог, если он вообще существует, а не придуман попами для обирания дураков, смотрит не на доски крашеные. Он смотрит на руки. На наши с тобой руки, в которые въелась грязь, чтобы у них были чистые маникюр. А руки у Летова

чистые. Белые и холеные, как у барышни. Чистые руки, запомни, — самый страшный и неопровержимый признак вора. Потому что он ничего этими руками не делает. Только нашими руками жар загребает.

Он поднялся, уперев руки в бока и разминая затекшую от долгого сидения поясницу. Ему было двадцать пять лет, всего двадцать пять, но в его движениях, тяжеловатых, но точных, сквозила та звериная грация, что приходит к людям, рано познавшим нужду, голод и научившимся выживать в каменных джунглях города. Он был по-своему красив — той суровой, резкой, мужицкой красотой, которая не бросается в глаза сразу, но врезается в память: широкие, твердые скулы, прямой нос с горбинкой, выбитой в драке у Калужской заставы, тяжелый, упрямый подбородок, говоривший о несокрушимой воле. Женщины на фабрике, особенно солдатки, засматривались на него, томно вздыхали, поправляя платки. Но он не смотрел ни на одну из них. Он дал себе обет, свою клятву аскета. Его единственной и непорочной невестой была Революция. Так он говорил себе, и в этом служении он черпал свою горькую, яростную радость.

— Завтра сходка у Ильича, в Пресненском районе, явка — квартира фельдшера на Большой Грузинской, — продолжил он, понизив голос до едва различимого шепота. — Будут наши, с «Трехгорки», с Гужона. Нужно решить, как реагиро-

вать на забастовку на заводе Листа. Если мы не поддержим, если отступим, нас сожрут меньшевики и либералы из Земгора. Скажут — вот большевики только на словах смелые.

В этот момент тяжелая, обитая рваным войлоком и мешковиной дверь подвала с душераздирающим скрипом ржавых петель отворилась, впуская в чадное нутро клуб холодного, сырого воздуха и полосу скупого света с лестницы. На пороге возникла фигура женщины в темном платке, низко надвинутом на самые брови, и с плетеной корзиной в руке. Обычная торговка пирожками, из тех, что кормятся на Хитровке, обслуживая ночлежки. Она часто захаживала к ним, принося дешевую снедь и слухи.

Но Константин вдруг замер, оборвав себя на полуслове. Несмотря на полумрак, на нарочито бедную одежду, что-то в ее походке — в том, как она несла голову, как ставила ногу, — было ему мучительно, до зубовного скрежета знакомо. Что-то чуждое этому подвалу, этому дну. И вдруг он узнал ее. Узнал по нежной линии шеи, по очертанию плеча. Это была не продавщица. Это была ****Она****. Та самая девушка, что дважды приезжала на фабрику в ландо с матерью хозяина — раздавать бабам сатиновые платки к Пасхе, смотреть на их быт, как на зоологический сад. Елизавета. Невеста Летова.

Его сердце пропустило удар, а затем забилося тяжелыми гулкими толчками. В голове пронеслись мысли, быстрые и острые, как осколки стекла. «Что она делает здесь, в этой клоаке? Зачем пришла? Шпионит? Или глупость толкает ее сюда?»

Она не заметила его, затаившегося в тени бочек. Она прошла в дальний угол подвала, где на ворохе грязного тряпья сидела старуха-нищенка, безногая, с лицом, похожим на печеное яблоко. Елизавета присела перед ней на корточки, прямо на грязный, заплеванный пол, и ласково, будто перед ней была не пропойца с Хитрова, а великая княгиня, протянула ей узелок с едой.

— Бабушка, это вам. Поешьте горяченького. И вот, возьмите на лекарство, — тихо, но отчетливо произнесла она, и звук ее голоса, мягкий и певучий, резанул Константина по живому.

Он смотрел на нее, не в силах отвести глаз. Внутри него вскипала и поднималась волна, поднималась из самых темных глубин души. Это была не благодарность, не умиление — эти чувства были ему органически чужды. Это было странное, темное, пьянящее и страшное чувство — смесь яростной, социальной ненависти и какого-то почти звериного, хищного желания. Желания не обладать ею, как женщиной, в мещанском смысле этого слова. Нет. Он хотел присво-

ить ее. Разрушить этот проклятый хрустальный, стерильный мир, откуда она спустилась в его преисподнюю как экзотический цветок. Показать ей, что ее добро, ее ласка — это лишь жалкие, унижительные крошки со стола сытых. Показать ей настоящую жизнь, настоящую боль, настоящую грязь — так, чтобы она посмотрела на него не как на насекомое под ногами, а как на равного. Как на пророка. Как на того, кто может ее спасти от ее собственной, фальшивой жизни. Или уничтожить.

«Она пришла в мой мир, — стучало в висках. — Она сама пришла. Она не понимает, куда попала. Она думает, что добротой можно откупиться. Нет, голубушка. Здесь за все платят сполна».

Елизавета, закончив раздавать милостыню, поднялась, поправила платок и повернулась к выходу. На мгновение ее взгляд, скользнув по темному углу, где стоял он, встретился с его взглядом. Всего на долю секунды, на одно короткое, как вспышка спички, мгновение. Он увидел, как расширились ее зрачки. В ее глазах, серых и прозрачных, как родниковая вода, плеснул животный безотчетный страх. Узнавание? Возможно. Но страх — точно. В его же глазах она, должно быть, прочла приговор. Или обещание. Он и сам не знал, что именно.

Она быстро, почти бегом, вышла, а Константин остался стоять, сжимая кулаки с такой силой, что короткие, обломанные ногти до крови впились в ладони, а побелевшие костяшки, казалось, готовы были прорвать грубую кожу.

— Ты чего застыл, Костя? — Миша удивленно и настороженно глянул на него, проследив за его взглядом. — Кого ты там увидел? Шпика?

— Никого, — глухо, с трудом разжимая челюсти, ответил он. — Показалось.

Он помолчал, глядя на захлопнувшуюся дверь, и добавил тихо, почти про себя, одними губами, но с такой жуткой, всепоглощающей убежденностью, что Миша поежился:

— Ничего. Просто я вдруг понял, Миша. Понял до конца, до самого доньшка, ради чего именно мы воюем. И ради кого.

ГАЗЕТНАЯ ХРОНИКА

Вырезка из газеты «Московские ведомости», № 78, 15 марта 1915 года.

> ****БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЗАР В ДВОРЯНСКОМ СОБРАНИИ****

>

> *«Вчера в зале Благородного собрания состоялся очередной благотворительный базар в пользу беженцев из Царства Польского и Прибалтийского края. Мероприятие собрало весь цвет московского общества. Особую активность проявили представительницы купеческих и дворянских фамилий: Морозовы, Третьяковы, Летовы.*

>

> *Её сиятельство княгиня Волконская лично продавала цветы, а воспитанница семейства Летовых, Елизавета Н., исполнила романс Глинки "Я помню чудное мгновенье", вызвавший слезы умиления у присутствующих. Собранные средства (более 15 000 рублей) будут направлены на обустройство приюта для детей-сирот на Якиманке.*

>

> *Государыня Императрица Александра Фёдоровна изволила выразить благодарность московским благотворительницам через своего статс-секретаря».*

****Историческая справка:****

* **Беженский кризис 1915 года:** К весне 1915 года в центральную Россию хлынул поток беженцев из западных губерний (Польша, Литва, Курляндия). Их число превысило 3 миллиона человек. Москва была одним из главных центров их размещения.

* **Хитров рынок (Хитровка):** Реально существовавший район Москвы (между Солянкой и Покровкой), знаменитый своими ночлежками, притонами и криминальным миром. Описан Гиляровским в книге «Москва и москвичи».

* **Благородное собрание:** Реальное место (ныне Дом Союзов на Большой Дмитровке), где проходили балы и благотворительные мероприятия московской аристократии.

* **Забастовка на заводе Гужона:** Реальное событие. В 1915 году завод Гужона (будущий «Серп и молот») стал одним из центров стачечного движения в Москве.

* **Романс Глинки «Я помню чудное мгновенье»:** Один из самых популярных романсов того времени на стихи Пушкина, символ русской дворянской культуры.

ГЛАВА 3. ИСКРА В ПОРОХЕ

Москва. Апрель 1915 года.

Весна в том году выпала поздняя, скупая на тепло и по-московски злая. Снег, всю зиму укрывавший булыжные мостовые серым, заскорузлым одеялом, сходил нехотя, с мучительной медлительностью, обнажая под собой не свежую землю, а черную, вязкую, липкую грязь, перемешанную с конским навозом и золой из печей. В этой грязи, чавкающей и хлопаяющей под ногами, тонули колеса извозчичьих пролеток, увязая по самые ступицы, и беспомощно буксова-

ли, надрывно рыча моторами, первые автомобили — редкие «Руссо-Балты» и привозные «Форды», бывшие здесь диковиной. Москва не благоухала весной; она бурлила, глухо и грозно, как переполненный паровой котел, забытый на медленном, но верном огне. У булочных на Арбате и Поварской выстраивались длинные, молчаливо-злые хвосты очередей — признак надвигающегося голода, который ощущали уже не только на окраинах, но и в центре.

В кабинете владельца «Товарищества мануфактур И. Летова» было душно, несмотря на распахнутую форточку. Дмитрий Иванович сидел за массивным дубовым столом, заваленным grossбухами, конторскими книгами в кожаных переплетах и казенными бумагами с орлами. Он потирал виски длинными, тонкими пальцами, на одном из которых тускло поблескивал перстень с фамильной печаткой. Перед ним лежал отчет управляющего, написанный убористым писарским почерком, и цифры, эти безжалостные черные заколючки, плясали перед воспаленными глазами, отказываясь складываться в привычную, успокоительную картину прибыли.

— Инфляция, Дмитрий Иванович, — тихо, почти извиняющимся тоном говорил Алексей Петрович, стоя у стола и нервно теребя в пальцах замшевый кисет с табаком, который он так и не решался закурить в присутствии хозяина.

— Это бич Божий, не иначе. Мука пшеничная подорожала втрое с начала войны. Сахар-рафинад — вчетверо, и того нет, по карточкам выдают, как в осажденной крепости. А сало, батюшка вы мой, сало и крупа гречневая — так те и все из продажи исчезли, спекулянты всё по тыловым госпиталям гонят. Рабочие требуют повышения расценок, и их по-человечески можно понять. Но военные заказы на шинельное сукно у нас фиксированные. Казна платит ту же цену, что и в довоенном тринадцатом году. И ни копейки сверху. Мы работаем себе в убыток.

Дмитрий слушал его, и где-то в груди нарастало глухое раздражение — не на управляющего, а на саму жизнь, которая вдруг стала такой сложной, не поддающейся его простым и праведным схемам.

— Знаю, Алексей Петрович, знаю... — он резко махнул рукой, прерывая поток причитаний. — Повысьте расценки на десять процентов. Не из прибыли — из моего личного капитала. И устройте к Пасхе горячее питание в заводской столовой. Борщ с мясом, чтобы с говяжьей косточкой был, а не пустая баланда. Пусть видят, что мы о них заботимся, что мы — единая семья. Нельзя в военное время разъединяться.

Управляющий тяжело, с присвистом вздохнул и, не удержавшись, все-таки сунул в рот папиросу, но прикурить не посмел. Его сморщенное лицо выражало сложную смесь по-

чтения и глубокой, безнадежной печали.

— Не увидят, барин. Христом Богом прошу, не тратьте деньги впустую. Им этот... Фролов... все уши прожужжал про «эксплуатацию» и «мировую буржуазию». Такие слова, прости Господи, что и не выговоришь. Он на каждой сходке, в каждом углу, как апостол сатаны, выступает. Вчера охранное отделение его снова вязало, прямо в цехе. Но отпустили — улик нет, а без улики сейчас нельзя, либералы в Думе шум поднимают. А он вышел из участка и будто еще злее стал, ей-богу. У него, Дмитрий Иванович, не глаза, а угли из преисподней.

Дмитрий нахмурился, чувствуя, как внутри что-то болезненно сжалось. Образ того рабочего из цеха — темного, жилистого, с тяжелым, не пропускающим свет взглядом, — снова, в который раз, незвано всплыл в памяти, как призрак, как ночной кошмар, приходящий под утро.

— Фролов... Константин, кажется, по батюшке? Константин Фролов? Что мы вообще о нем знаем? Кто он таков? Вы говорили, сирота?

— Именно так, — оживился управляющий, радуясь возможности хоть чем-то отвлечь хозяина от мрачных финансовых дум. — Круглый сирота, из мещан. Отец его, матрос, сгинул в Цусимском проливе на броненосце «Ослябя» в девятьсот пятом. Мать от скоротечной чахотки померла, пока

сын на каторжной работе гнил. Сам с двенадцати лет у станка, сначала учеником, потом мастеровым. Парень смысленный, черт его дери. Грамотный, много читает, даже книги какие-то толстые, без картинок. Мог бы в приказчики выйти или в конторщики, но озлобленный. Озлобленный до самого нутра. Такие, как он, опаснее всего. Они не ради лишнего рубля бунтуют, как пьяная голь, а за идею. А идея, Дмитрий Иванович, это такой товар, который ничем не выкупишь. Она у него как вера, только вывернутая наизнанку.

Дмитрий встал из-за стола, подошел к окну и уставился на заводской двор, где переругивались ломовики, грузившие тюки с готовым сукном. В его душе происходила тяжелая, непривычная работа. В его картине мира, ясной и гармоничной, как голландский пейзаж, где есть добрый пастырь (он сам), есть овцы (рабочие) и есть волки (немцы), — не было места таким, как Фролов. Фролов был трещиной в этом полотне, уродливым разрывом, который он инстинктивно хотел заклеить, замазать, не всматриваясь в бездну, открывающуюся за ним. «Может поговорить с ним? — мелькнула мысль, наивная и горячая. — Призвать к себе, объяснить, что я не враг, что я свой? По-христиански, лицом к лицу?» Но тут же в памяти всплыли те немигающие, волчьи глаза, и решимость таяла, сменяясь холодком иррационального страха.

— Пусть охранка следит за ним неусыпно, — произнес он наконец глухо, не оборачиваясь. — Докладывайте мне лично. Но не трогайте его зря, без моего ведома. Мучеников нам тут не нужно. Создавать святого из этого бунтаря — последнее дело.

В тот же вечер, когда на город опустились сырые промозглые сумерки, Константин Фролов стоял на импровизированной трибуне — перевернутом ящике из-под казенного мыла — в сыром и душном подвале одного из дальних заводских барачков, притулившись у самой ограды. Воздух здесь был спертый до тошноты; дыхание четырех десятков людей, стиснутых в каменном мешке со сводчатым, давящим потолком, создавало банную, удушливую атмосферу, смешанную с запахом прели, кислой капусты и мокрой овчины. Единственная керосиновая лампа, подвешенная на кривом гвозде, выхватывала из мрака изможденные, бледные лица.

Вокруг него теснились люди — человеческое месиво, измученное и отчаявшееся. Здесь были немолодые, рано увядшие ткачихи с темными кругами у глаз и распухшими от артрита пальцами; подростки-ученики, заменившие ушедших на германский фронт отцов — голодные, затравленные, но все еще с живым, любопытным блеском в глазах; несколь-

ко инвалидов, вернувшихся с войны «чистыми» — у одного пустой рукав гимнастерки был заткнут за пояс, у другого — грязный бинт прикрывал незаживающие язвы вместо ноги. На их груди, как страшная насмешка, болтались георгиевские кресты «за храбрость».

— ...И они говорят нам о терпении! — голос Константина, сорванный и хриплый, звучал в этой тишине набатом. Каждое слово, отчеканенное и точное, падало в толпу, как молот кузнеца на наковальню, высекая искры. — Они приходят к нам в цеха и говорят: «Терпите, братья, победа близка, враг у ворот!» А я вас спрашиваю, как братьев: о какой такой победе они поют? О какой победе, когда ваши грудные дети мрут, не дождавшись молока, и едят лебеду, от которой животы пучит? О какой победе, когда ваши жены и вдовы, чтобы не сдохнуть, продают себя за буханку черствого хлеба на Сухаревке? Пока мы здесь, в этом аду, шьем шинели, чтобы наша кровь не лилась на снег, наши хозяева, наши «благодетели» Летовы, пьют шампанское вперемешку с французским коньяком в своих дворцах на Пречистенке! Пока вы спите вповалку на этих нарах, в грязи и во вшах, они строят себе мраморные дачи в благословенном Крыму!

Толпа загудела. Этот гул был не строен, он распался на отдельные голоса. Кто-то, у кого ненависть уже пережгла все сомнения, одобрительно кивал и сжимал кулаки. Кто-то,

более осторожный, крестился, испуганно озираясь на единственную дверь.

— Он брешет, братцы! — вдруг выкрикнул срывающимся фальцетом старый ткач Захар, тот самый, что недавно заступался за Летова. Его лицо с пробитым легким побагровело от натуги. — Не слушайте его, Христа ради! Барин наш — доброй души человек, каких поискать! Он нам премию к Пасхе своей волей дал! Он вдов не забывает, сирот не бросает! А ты, Костя, ты нас под монастырь ведешь!

— Премию?! — Константин вдруг расхохотался, и этот смех, резкий, металлический, был страшнее любой брани. Он эхом отразился от низких сводов. — Ты, дядя Захар, дитя малое, хоть и седой. Это не премия! Это подачка! Крошки, падающие со стола господ, чтобы ты, как верный пес, лизал им руку и не кусался! Он дал вам сегодня десять жалких рублей, потому что завтра вы принесете ему десять тысяч, на которые он закажет себе новый рояль для невесты! Неужели ты не понимаешь? Вы для них не люди. Вы — станки, которые, по досадному недоразумению, умеют есть, спать и болеть. А станки, друзья мои, иногда ломаются. И когда вы сломаетесь, когда вас скрутит ревматизм и вы захлебнетесь хлопковой пылью, они просто выбросят вас на помойку, как отработанный механизм, и поставят новых!

В этот момент, заглушая возбужденный ропот, тяжелая,

окованная железом дверь подвала с грохотом распахнулась, ударившись о стену. Пламя лампы испуганно заметалось, закоптив стекло. На пороге, загораживая выход, выросли две монументальные фигуры городских в черных шинелях с медными бляхами. А за их широкими спинами, словно бесплотный призрак, возникла фигура в дорогом пальто. В тусклом, дрожащем свете Константин узнал его сразу. Летов.

Тишина наступила мгновенная, абсолютная, какая бывает только перед грозой, когда даже ветер замирает. Казалось, слышно было, как потрескивает фитиль в лампе. Дмитрий сделал шаг вперед, выйдя из-за спин полицейских. Его лицо было бледно, как полотно, глаза лихорадочно блестели. Он обвел взглядом толпу, задержавшись на знакомых, заплаканных лицах баб, на инвалидах с крестами, и на мгновение в его сердце кольнула острая, мучительная жалость, смешанная с чувством вины. «Боже мой, — подумал он, холодея, — неужели это я довел их до такого? Неужели я был слеп?» Но тут же эта мысль была подавлена другой — о долге, о порядке, о недопустимости бунта.

— Братья мои... — начал он тихо, и голос его, такой непривычно звонкий, сейчас дрожал и давал петуха. — Зачем вы собираетесь здесь, в этой яме как воры? Если у вас есть нужда, если вам тяжело — придите ко мне. В любой час, днем и ночью. Я всегда выслушаю, всегда помогу. Не слушайте смутьянов. Они губят ваши души и ваши семьи.

— Иди к своей невесте, барин! — выкрикнул из дальнего угла чей-то злой, истеричный голос, срывающийся на визг. — Она тебе там носки вяжет! А мы тут подышать не нанимались!

Дмитрий вздрогнул, как от пощечины. Эта грубость, это упоминание Лизы в грязном, заплеванном подвале резануло его по самому живому.

И в этот момент Константин медленно, по-кошачьи мягко прыгнул с ящика на земляной пол. Он не выказал ни страха, ни гнева. Наоборот, в его глазах, глубоких и темных, загорелся странный, радостный огонь — огонь человека, который дождался своего звездного часа, который увидел врага лицом к лицу и не почувствовал трепета. Внутри него пело торжество. «Вот ты и пришел сам, чистенький барин. Пришел в мой храм. И сейчас ты увидишь, что твои иконы здесь не работают».

— Летов, — произнес он спокойно, почти лениво, цедя слова сквозь зубы. — Ты пришел разогнать нас? Валяй, у тебя за спиной штыки. Это все, что вы умеете — разгонять и приказывать. Но знай, барин, и запомни крепко: мы не воры. Мы и есть эта фабрика. Это наши руки, наша кровь, наши жизни. А ты здесь — временщик, пена на волне истории. Запомни мое лицо, Дмитрий Иванович Летов. Запомни хорошенько, потому что мы еще обязательно встретимся. И при

встрече роли у нас с тобой переменятся.

Он говорил это, глядя Дмитрию прямо в глаза, не мигая, и в этом взгляде было столько обжигающей, концентрированной ненависти, что Дмитрий физически ощутил его, как удар. В этот миг между ними протянулась невидимая, но прочная, как стальной канат, нить. Нить ненависти? Нить судьбы? Дмитрий не знал. Он только почувствовал, как внутри, в груди, где-то под сердцем, что-то предательски надломилось, хрустнуло. Впервые в жизни он усомнился. Не в царе. Не в Боге. Он усомнился в самом себе, в своем праве на этот завод, на эту власть, на эту любовь рабочих. «А что, если он прав? — пронеслось ледяной иглой в сознании. — Что, если я всю жизнь только и делал, что откупался от них?»

По знаку Летова городовые грубо, привычным движением заломив руки, схватили Константина. Он не сопротивлялся, не вырывался, словно эта жертва входила в его расчеты. Уходя, уже в дверном проеме, он резко, всем корпусом обернулся и бросил в застывшую тишину слова, которые ударили сильнее всякой пули. Слова, сказанные негромко, почти интимно, но от которых у Дмитрия кровь застыла в жилах: — Береги свою Елизавету, Летов. Хрусталь, он ведь бьется легко. Очень легко.

Дмитрий побледнел еще сильнее. Кровь отхлынула от его

лица так, что губы стали серыми. «Откуда?.. Откуда он знает её имя? — эта мысль забилась в черепной коробке, как птица в клетке. — Кто сказал ему? Кто выдал? Или он следил? За ней? За мной?» Перед его глазами встало видение: Лиза, одна, беззащитная, выходящая из дома на Пречистенке, а за ней из тени арки следят эти страшные, угольные глаза.

Городовые вывели Фролова, его шаги затихли в ночи, а в подвале остался только запах керосина, страх и липкое, невыносимое чувство вины, которое парализовало Дмитрия. Он стоял, опустошенный, посреди замерших рабочих, и понимал: только что закончилась его прежняя жизнь и началась другая — жизнь, в которой за каждым углом таится угроза, а хрусталь, действительно, разбивается от одного неосторожного прикосновения.

ГАЗЕТНАЯ ХРОНИКА

Вырезка из газеты «Русские ведомости», № 92, 2 апреля 1915 года.

> ****РАСТУЩАЯ ДОРОГОВИЗНА И НАСТРОЕНИЯ В СТОЛИЦАХ****

>

> *«По данным Московской городской управы, цены на предметы первой необходимости продолжают неуклонный рост. Пуд ржаной муки достиг невиданной отметки в 1 рубль

80 копеек (против 90 копеек в 1913 году). Сахарный песок подорожал до 18 копеек за фунт. Наблюдается дефицит керосина и дров.*

>

> *Особую тревогу вызывают настроения на фабриках и заводах. Несмотря на патриотический подъем первых месяцев войны, усталость и дороговизна порождают почву для противоправной агитации. Полиция пресекает деятельность подпольных кружков, но, как отмечают эксперты, влияние революционных партий (особенно РСДРП) среди рабочих сохраняется.*

>

> *Вчерашний день ознаменовался очередным задержанием известного агитатора К. Фролова на фабрике товарищества Летова, однако за недостатком улик оный был отпущен под гласный надзор».*

****Историческая справка:****

* ****Инфляция военного времени:**** К 1915 году цены в России выросли примерно вдвое по сравнению с 1913 годом. К 1917 году они вырастут в 8-10 раз. Это был один из главных факторов революционных настроений.

* ****РСДРП (большевики и меньшевики):**** Российская социал-демократическая рабочая партия, расколовшаяся на

фракции в 1903 году. К 1915 году большевики во главе с Лениным (находившимся в эмиграции в Швейцарии) занимали пораженческую позицию — желали поражения царскому правительству в войне для ускорения революции.

* **Гласный надзор:** * Полицейская мера, при которой подозреваемый не арестовывался, но должен был регулярно являться в участок и не мог покидать город. Широко применялась против революционеров.

* **Русско-японская война 1904-1905:** * Закончилась позорным поражением России, что стало одной из причин революции 1905 года и подорвало авторитет власти.

* **Сухаревка:** * Знаменитый московский рынок, который в годы войны превратился в центр черного рынка («мешочничества») и спекуляции.

ГЛАВА 4. ВЕНЧАНИЕ ПОД ДУЛАМИ

Москва. Ноябрь 1917 года.

Москва горела. Горела не привычными пожарами деревянных слобод, а огнем гражданской смуты, кровавым, безжалостным, разрывавшим само тело Первопрестольной. Октябрьский переворот, случившийся в Петрограде под аккомпанемент холостого залпа «Авроры», докатился сюда не быстрой и бескровной волной, а тяжелой, ухабистой лавиной, захлебнувшейся в упорном сопротивлении. Москва

огрызалась. Здесь еще оставались островки старого мира, и они сражались с отчаянием обреченных.

По древним, выщербленным стенам Кремля, по куполам соборов, били прямой наводкой трехдюймовые орудия красногвардейцев, установленные на Швивой горке и у храма Христа Спасителя. Юнкера Александровского военного училища, совсем еще мальчики с погонами на шинелях, забаррикадировались у Никольских ворот и у арсенала, поливая свинцом цепи красногвардейцев, ползущие по брусчатке. Воздух разрывался от винтовочных залпов, перемежающихся глухими, утробными разрывами гранат. Снаряды, предназначенные для германских окопов, теперь вгрызались в стены Чудова монастыря и кремлевских палат, превращая святыни в груды битого кирпича и облака известковой пыли. На перекрестках горели баррикады из опрокинутых трамвайных вагонов и мешков с песком, и ветер гнал по мостовым обрывки газет, смешанные с колючей снежной крупой.

Особняк Летовых на Пречистенке, еще недавно дышавший бархатной тишиной и уютом, превратился в осажденную, молчаливую крепость, готовящуюся к последнему приступу. Окна первого и второго этажей были наспех забиты дубовыми досками, снятыми с оранжереи, и укреплены изнутри бронзовыми канделябрами и тяжелыми томами эн-

циклопедий. Парадные двери, украшенные резными вензелями, заложили мебелью красного дерева — стульями, комодами, даже роялем, — превратив холл в хаотический бастион.

Внутри, в большой гостиной, где еще недавно звучали романсы Глинки и тихо шелестели шелковые платья, теперь стоял сырой, промозглый холод, просачивающийся сквозь щели в досках, и витал тяжелый, липкий дух страха. Пахло пылью, запустением и карболкой, которой наспех промывали раны. Дмитрий Иванович Летов, облаченный в офицерскую форму с полевыми погонами поручика, сидел на корточках у окна, привалившись спиной к холодной стене. В правой руке он сжимал револьвер системы «Наган», заряженный всеми семью патронами. Его лицо, когда-то светившееся юношеской, почти святой верой, осунулось и потемнело; скулы заострились, глаза глубоко провалились в орбиты, и в них больше не было той чистой, безмятежной голубизны. Теперь там плескалась муть — смесь усталости, отчаяния и какого-то нового, незнакомого ему доселе чувства. Жесткой, обжигающей ненависти.

Внутренний монолог его был похож на молитву, обращенную в пустоту. «Господи, за что? Я верил. Я искренне верил, что народ и царь — едины. Что мы — одна семья. Я строил для них столовые, я крестил их детей, я платил им премии.

Я отдавал им свою душу... А теперь они жгут и грабят. На моих глазах толпа стащила с пролетки седого генерала, кричала ему в лицо матерную брань, плевала в его Георгиевский крест... Я видел, как пьяный матрос с размаху бил старуху прикладом за то, что она была в шляпке. За что? Что мы им сделали, кроме добра?» Перед его внутренним взором вставал образ Фролова — те немигающие, угольные глаза, что мерещились ему в кошмарах последние два года. «Это он. Я знаю, он придет. Он тогда обещал. И он сдержит слово».

В подвале, где хранились остатки фамильного серебра и банки с вареньем, сидела Елизавета, обхватив руками Анну Сергеевну. Старуха была почти невменяема от страха; она сидела, укутанная в меховую ротонду, и мелко, безостановочно трясла головой, шепча пересохшими губами обрывки молитв. Елизавета за эти дни похудела так, что ее лицо, обрамленное пепельными, давно не мытыми волосами, стало похоже на лик иконы, писанной строгим, постным монахом-иконописцем: одни глаза, огромные, серые, казалось, заняли половину лица. В ледяных пальцах она сжимала то самое маленькое серебряное распятие, которое Дмитрий носил с собой на фабрику и которое он, уходя дежурить наверх, сунул ей в руки.

Она не плакала. В ней, перегорев, иссякли слезы. Внутри шла другая, страшная работа. «Господи, я готова. Я си-

рота, я всегда это знала. Я не боюсь умереть. Но они... Дима и матушка... Ты не можешь допустить, чтобы их убили. Они — всё, что у меня есть. Если нужно заплатить собой — я заплачу. Только бы они жили. Сотвори чудо. Пошли нам спасение». Но в глубине души, там, где живет инстинкт, она уже чувствовала: чуда не будет. Бог покинул этот дом, ушел вслед за дымом от горящих усадеб.

Сверху, из-за забитых окон, донесся гулкий, нарастающий шум — топот десятков сапог по мерзлому булыжнику, лязг затворов, грубая, матерная брань.

— Дима, казаки? — с надеждой, захлебываясь, спросила Анна Сергеевна. — Слава тебе Господи, дошли...

Но Дмитрий, выглянув в щель, только покачал головой. Нет, не казаки. В сером предрассветном сумраке он разглядел красные банты на папах, матросские ленточки, развевающиеся на ветру, кожаные куртки поверх грязных шинелей. Отряд вооруженных людей окружал дом.

Глухой удар прикладом вышиб замок, и входная дверь, заложённая мебелью, содрогнулась. Еще удар. И еще. С грохотом, треском ломающегося дерева, баррикада рухнула. В дом, впуская клубы морозного пара и смрад уличного дыма, ворвались люди. Они не походили на грабителей — они были методичны, как солдаты. Рассыпались по комнатам, переворачивая мебель, срывая портьеры, искали не ценности, а

самых хозяев. И нашли.

В гостиную, расталкивая двух матросов с «гангренами» на бескозырках — надпись «Гангут», — вошел он. Константин Фролов. Дмитрий узнал его мгновенно, еще до того, как разглядел лицо, — по той хищной, звериной грации движений, по тому, как он нес себя в этом доме.

Фролов изменился. Растаяла, как дым, былая робость фабричного мастерового. Теперь на нем была добротная, хоть и потертая, черная кожанка, перетянутая португесей, на груди висел в потертой деревянной кобуре тяжелый «Маузер», на рукаве алела красная повязка с корявыми чернильными буквами «ВРК». Он стал тяжелее, массивнее, словно власть, свалившаяся на него, обрела физический вес. Это был уже не просто ткач, а комиссар Военно-революционного комитета, человек, за спиной которого стояла сила нового, страшного бога — Истории, пишущей свои приговоры кровью.

Он вошел в гостиную и остановился, медленно обводя взглядом разгромленную комнату, сбитые портреты предков, разорванную обивку. Его ноздри раздувались, впитывая запах чужого, ненавистного ему с детства быта — воска, старого дерева, французских духов. Внутри него боролись два чувства. Одно — холодное, железное удовлетворение комис-

сара, выполняющего приказ партии. «Вот он, осиное гнездо эксплуататоров. Эти стены, этот паркет, эти картины — все это построено на костях моих братьев. Справедливость, наконец, пришла сюда». Другое — темное, вязкое, почти тошнотворное — было сугубо личным. Два года он ждал этой минуты. Два года образ этого барина и, главное, той девушки, Елизаветы, стоял у него перед глазами. Он не просто хотел отомстить. Он хотел обладать. Хотел доказать, что он, Константин, выше и сильнее.

Его взгляд, скользнув по сжавшемуся в углу Дмитрию, по старухе, остановился, наконец, на Елизавете, которую матросы, грубо схватив за плечи, вытащили из подвала. В этом взгляде не было злорадного торжества, как ожидал Дмитрий. В нем было что-то иное — та самая, собственническая, голодная страсть, что зародилась в подвале на Хитровке, когда она, сама того не зная, протянула ему узелок с хлебом. «Ты, — казалось, говорили его глаза, — ты здесь. Ты та, ради кого я шел через кровь. Я пришел взять свое».

— Летов, — голос Константина прозвучал на удивление ровно, почти официально, без крика и истерики, и от этого было еще страшнее. — Как представитель новой, рабоче-крестьянской власти, я объявляю этот дом и все имущество реквизированным в собственность Республики. А вас, поручик Дмитрий Иванович Летов, как офицера контрре-

волюционной армии, ожидает суд Военно-революционного трибунала. Приговор может быть только один. Вы сами понимаете.

Дмитрий, с наганом в руке, сделал резкое движение, выбрасывая оружие вперед. Но двое здоровенных матросов с бушлатами нараспашку мгновенно скрутили ему руки, выворачивая кисти с профессиональной жестокостью. Револьвер с глухим стуком упал на паркет.

— Твои родители, — Константин кивнул на Анну Сергеевну, которая забилась в истерике, — тоже поедут на Лубянку, в подвалы. Времена нынче суровые. Буржуазия, как класс, отвечает за всё. За войну, за голод, за разруху. Вы свой хруст французской булки не отмоете никакой молитвой.

И тогда Елизавета шагнула вперед. Она высвободилась из рук державшего ее матроса и встала между Константином и Дмитрием, расправив плечи, заслоняя собой любимого. Лицо ее, бледное до голубизны, было спокойно, только на шее судорожно билась тонкая жилка. Внутри нее все звенело от ужаса, но она нашла в себе силы. «Господи, прости меня. Если для этого нужно предать себя — я предаю. Только спаси их».

— Умоляю вас... — голос ее был тих, но тверд. — Оставьте их. Они старые. Они никому никогда не причинили зла. Его мать... она не переживет тюрьмы. Берите меня. Делайте

со мной всё, что хотите, но отпустите их. Сейчас. Дайте им уйти.

Константин замер. Ее слова, ее голос ударили его сильнее, чем любое лезвие. Он смотрел на нее и впервые за долгое время почувствовал, как дрогнуло что-то внутри его стальной брони. В нем боролись комиссар и мужчина. Комиссар, верный ученик Ильича, знал: классовое милосердие есть преступление. Враг должен быть уничтожен без остатка. Но мужчина... Мужчина смотрел на эту хрупкую девушку с иконописным лицом и понимал, что без нее его победа — пыль. Что его власть, его маузер, его красная повязка — все это пусто, если она не увидит в нем силу, достойную поклонения. Он хотел не убить ее. Он хотел, чтобы она покорилась ему. По-настоящему.

— Есть один способ, — произнес он медленно, растягивая слова. В комнате повисла гулкая тишина, нарушаемая только всхлипами Анны Сергеевны. — Способ, который спасет всех. Даже тебя, Летов. Ты уедешь. Сегодня же. На Дон, к белым. Скатертью дорога. Я лично дам тебе пропуск через заставы, за подписью комитета. Твои родители останутся здесь, под домашним арестом, но живыми и в тепле.

— Цена? — хрипло, с ненавистью спросил Дмитрий, сплевывая кровь из рассеченной о чей-то кулак губы. Он уже знал, каков будет ответ, и сердце его обрывалось в бездну.

Константин повернулся к Елизавете, и его взгляд стал почти осязаемым, как прикосновение к голой коже.

— Она станет моей женой. Сегодня. Сейчас.

В комнате повисла тишина — не просто молчание, а звенящая, как перетянутая струна перед разрывом. Казалось, даже Анна Сергеевна перестала дышать. Дмитрий дернулся с такой силой, что едва не вырвался из рук матросов. «Зверь! Скотина! — билось у него в висках. — Да лучше смерть! Лучше я сам убью ее и себя, чем...» Но его взгляд встретился со взглядом Елизаветы. В ее глазах он прочитал не страх и не мольбу. Там была твердая, ледяная решимость и бесконечная любовь к нему.

— Ты сумасшедший, — прошептал Дмитрий, но уже без силы в голосе. — Она никогда... Она не твоя вещь...

— Она согласится, — спокойно, будто констатируя медицинский факт, перебил Константин. — Потому что она любит тебя. И любит их. Это сильнее гордости.

Елизавета смотрела куда-то сквозь стены, туда, где за серой пеленой рассвета догорали баррикады и умирал старый мир. Она поняла в этот миг с ужасающей ясностью, что Бог, которого она молила о заступничестве, ушел. Оставил этот дом. И что теперь здесь, в этой разгромленной гостиной, правит другая сила — грубая, безжалостная, требующая не мо-

литвы, а жертвы. Ее мысли были холодны и прозрачны, как лед: «Я всегда знала, что я — сирота. Что мое счастье было дано мне лишь на время. Я жила в золотой клетке, и теперь пришла пора платить за это. Если я могу спасти их своей жизнью — пусть так. Это мой крест. Моя Голгофа. Дима будет жить. Дима уедет. Это всё, что имеет значение».

— Я согласна, — сказала она голосом, в котором не осталось ничего человеческого — ни слез, ни интонаций, лишь пустой, бестелесный звук. — Дима, уезжай. Прошу тебя. Живи. Это всё, о чем я тебя прошу.

Дмитрий хотел кричать, хотел проклинать, но слова застряли в горле. Он увидел, как двое красногвардейцев уже волокут к столу старую, чудом уцелевшую домовую книгу, как Константин достает из полевой сумки походную чернильницу, как матросы, глумясь, строят подобие аналоя из перевернутого ящика. «Боже, за что Ты оставил нас? — шептал он про себя. — Я верил Тебе. Я служил Тебе. Я хотел, чтобы мир держался Небом...»

Через час в пустом, оскверненном зале, где еще пахло порохом и мокрыми шинелями, без попа, без венцов, без ликов Спасителя и Богородицы, под направленными дулами винтовок матросов, состоялось это чудовищное, надрывное действие. Комиссар ВРК Константин Фролов размашисто, с жирным нажимом, расписался в графе домовой книги, напротив

фамилии Елизаветы. Она стояла неподвижно, как мраморное изваяние, не поднимая глаз, глядя куда-то в пол, в щель между дубовыми плашками паркета. Когда он взял ее руку, чтобы зафиксировать союз, она не отдернула ее. Рука была холодной, как лед, безвольной и безжизненной, словно у покойницы.

Дмитрия, скрутившего руки за спиной, потащили к выходу. Он оглянулся на пороге родного дома, где теперь, с торжествующей улыбкой на губах, хозяйничал человек, украсивший его жизнь. Их взгляды встретились в последний раз. Константин смотрел на него с чувством превосходства, почти жалости. «Видишь, барин? Ты проиграл. Она теперь моя. Твой Бог тебе не помог. Я сам — бог этого нового мира». Дмитрий не отвел взгляда. В его сердце, разрываясь от боли и унижения, родилось нечто новое, черное и тяжелое, как чугунное ядро. Это была уже не просто злость. Это была Ненависть — холодная, выжженная, не знающая пощады, которая отныне будет питать его долгие месяцы на Дону, в Ледяном походе, в боях.

Его вытолкали на улицу, в морозную, колючую крупу. Он упал на колени в грязный снег, и последнее, что он услышал, был тихий, надрывный вскрик Елизаветы, тотчас же заглушённый грубым смехом матросов. Поднявшись, он пошел прочь, не оборачиваясь, сжимая в кармане смятый пропуск

и чувствуя, как в душе, вместо прежней веры, разгорается адское пламя мести, которое не погаснет уже никогда.

ГАЗЕТНАЯ ХРОНИКА

Вырезка из газеты «Известия Московского Военно-Революционного Комитета», № 3, 4 ноября 1917 года.

> ****ПОБЕДА РЕВОЛЮЦИИ В МОСКВЕ!****

>

> *«Товарищи! Рабочие и солдаты! Сопротивление юнкеров и белогвардейцев сломлено. Кремль взят штурмом. Буржуазная контрреволюция, пытавшаяся утопить в крови народную власть, повержена.*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.